

Ныряет солнце в лопухи,  
Закат сочится сквозь плетень.  
В селеньях нашенских, глухих,  
Без потрясений и стихий  
Опять ко сну отходит день.  
И серебрится молодой,  
Затеплив в небеси светец.  
И в ожерельях повилик,  
Главою к росстаням приник,  
По ком-то стонет крест-голбец.  
Соседка, проглядев глаза,  
Бесцельно кружит у ворот.  
И не поверишь, рассказать...  
Но мать, она – до гроба мать –  
Всё из Афгана сына ждёт...

Паслёновским дворам, беспорядочно разбросанным вдоль двух супротив друг дружки возлежащих холмов, неказистой деревушке этой, сбегаящей под изволок к самой пойме реки, и сейчас не повезло: бетонный большак ошмыгнулся, пролёг в стороне верстах в двадцати пяти. Так и то, как полегчало, раньше ведь в райцентр с ночёвкой ходили. Одним днём, хоть как старайся, не обернуться.

Хотя... на мой погляд, именно в таком месте не обидно и жизнь прожить, и умереть.

Может, по причине глухоманного расположения этой деревеньки, кроме прилаженной на божнице справа от Георгия Победоносца, напроочь прожелтившейся карточки, в избе больше ни одного фото и не видать? Хотя... в деревнях-то как раз их обычно уйма по стенам. Скорее всего, где-то прибраны другие снимки, просто эта карточка у воском закапанного Евангелия, у намоленных, окружённых розоватыми бумажными цветами образов для хозяйки особо дорогая.

Тётка Серафима рада случайной госте. Под Покрова будет год, как она осталась во всей Паслёновке одна-одинёшенька. Последняя товарка её, бабка Лукьяновна, с миром отошла ещё по первопутку, и Серафиме теперь не с кем ни словечком перекинуться, ни складницу дров под навесом сложить, ни сны не с кем поразгадывать.

Старушка знает, что время так подпортило хранимый на пахнущей вечностью Божничке снимок, что издали уже и не разглядеть на нём её Митюшу. Она допинается до полочки, бережно вынимает из-под обляялого, когда-то расшитого алым убористым крестиком полотенца вставленную в самодельную рамку карточку сына. С нежностью дышит на отливающее нездешним светом стеклышко, протирает его краем выбеленной до синевы скатерти и, зачиная рассказ о единственной своей кровиночке, протягивает мне бесценный портрет.

Со мной всегда так. Если приходится смотреть на фотокарточку человека, дожившего до своего века, душа при думах, навеянных снимком, затепливается светлой грустью. А тут... К горлу подкатил такой давкий ком – не проглотить. И сердце ожгла невыносимая жалость к этому, с сержантскими погонями, задорно улыбающемуся вихрастому парню, к неотвратимой безнадёжности его судьбы.

– Э-эх! Коли знал бы кто, как мне Митенька достался, какими слёзными слезьми вымоленный!.. Хоть фильму сымай. Тока разишь теперя всего упомнишь? Память стала – трушляк трушляком. Так и надо думать! Столько, как положил мне Господь, и вовсе не живут... Особенно с таким неизбывным горем... Ить разъедин он у меня был, сыночек-то... позднушок. В былые годы, скажу я тебе, в Паслёновке детворы в каждой избе, что мурашей, водилось... А он мне, как есть, один даденый... Но я и тем довольная – и мне, пущай крохотный кусочек материнского счастья, а всё ж таки отвесился.

День жаворонистый, апрель перебрел холодами, и сейчас, на его исходе, погоды стоят на загляденье. Небеса расколоколились волновым заплеском, воздух можно кружкой пить. Скоро земля совсем пропитается солнцем. В заоконье вот-вот брызнут, заразбазаривают цветами бубенчики вишен. На задворках попёрла глухая крапива, полынь, всякий-разный дурнопьян. В палисадовых кустах боярки хором голосят птицы. Вовсю закурдывилась по прогалинам мать-и-мачеха. Куры-не-сушки на подворье с кококаньем моют лапы в засолненной луже, где, видать, после драки плавают сине-золотистые петушки перья.

Завтра Радоница. Пойдём с тёткой Серафимой по первому одуванчиковому разливу в светло-русуую рощицу, на погост.

По привычке тётка Серафима усаживается на лавку так, чтобы свет падал справа. Хоть почти и выровняла, одинаково изжевала долгая и многотяжкая судьбина и лоб её, и обе впалые, тряпицами повислые щеки, всё одно и сейчас ещё отчётливо сквозь паутину морщин просматривается крупное, сливового цвета родимое пятно, заляпавшее почти всю левую часть её угаслого лица.

Чёрносмородинные, когда-то бывшие праздничной одеждой души, а нынче запавшие, вдавленные временем, выеденные до бесцветья солью бессонных ночей Серафимины глаза при мысли о сыне затепливаются. И в ту же минуту сама по себе начинает лучиться из них безмерная ласка. В уголках скукоженных, словно два прошлогодних фасолевых стручка, губ даже проявляется, как отблеск прошлого счастья, лёгкая улыбка. И старушка, научившаяся за горькие годы забываться, уходя с головой в это бывшее счастье, заметно оживает.

– Ни от кого не секрет, сама, поди, видишь, – уже не стесняясь своего уродства, вдруг поворачивает разговор на смущающую меня тему тётка Серафима, – ягодкой боровой я никогда не слыла. Дак и время, оно тожить кого хочешь согнёт... Чтобы самой от себя не шарахаться, зеркалов в избе ни в жисть не держала... Без них всё ж таки полегшей... Да и за работой забываешься...

Хотя как тут забудешься?.. Не надясь узнала – неманкая, и смолоду, бывало, ни один парень в мою сторону не взглянет. Годки-товарки, подоспело время, замуж повыскакивали, ребятишки у них как грибы после дождя каждый год высыпает... Пойду на речку кой-что располоскать, бабы мужнины рубахи, детские рубашонки по воде распускают. Угнусь, пральником по камню со всей мочи луплю, луплю – боль эту проклятушую, громаднишую из себя выколачиваю. По деревне иду – шум, гам дитячий звенит, а у меня на дворе – тишина гробовая.

Кого в своём уродстве винить? Мамыньку-покойницу ли, тот Кашеев час, в котором по наущенью сатаны угораздило мне с порчей народиться? Кто ж знает?.. Я по метрикам-то осенская,

с девятнадцатого году. Как чуток возросла, знамо дело, на дворе ребятня дражит, ну, и стала я, значит, мамыньку-то пытаться: мол, отчего такая беда могла со мною, невинным младенцем, приключиться?

Правда ли, нет, один Господь знает, стало ли то причиной, только рассказала мне рódная о жутком своём испуге, от которого она мной раньше сроку разродилась.

Тётка Серафима пододвигает колченогую свою табуретку ко мне поближе, налаживается на долгий разговор. Знать, время ему пришло. И я стараюсь старушку не перебивать, помня, как дорог для неё любой человек, заглянувший в это одинокое жильё, а уж коли гость окажется хорошим собеседником или хотя бы слушателем, так на всю оставшуюся Серафимину жизнь станет для неё родным. Да и потом: перед чужим не вот-то распахнёшься, наболевшим, сокровенным не вот-то поделишься.

– А дело было так. Отец мой, вернувшись с Мировой с подтраченными газами нутром, ни за какие коврижки уже не захотел затёсываться ни в белые, ни в красные, ни в какие зелёные. Обженившись, надеялся жить своим семейством, кормясь с небольшого по нынешним меркам клина, прирабатывая, как исстари у нас велось, отходом. Сказывают: шубники шил – игрушки, а не шубники!

Но где там! Как закрути-илась Гражданская, как запуржи-ила! Хошь не хошь, виноватым окажешься. Не перед одними, так перед другими. Так и вышло. Осенью девятнадцатого, как посыпались с деревьев в речку краснопёрками листья, со стороны Кром на нашу округу двинулся Деникин. Мужики-то здешние, деревенские, в основном – по фронтам, а отец мой – дома. Вошли, значит, белые в Паслёновку и давай всех на сход собирать. Так, мол, и так: коней сдать, фураж для них поставить, а самое главное – мужиков, кто оружие держать способен, – под запись и в строй.

Отец, знамо дело, засупротивился: коня, мол, не дам, фуражу – и так нема, и сам не пойду, навоевал по самые некуда. Война... все озлоблены до предела! Доложили фицеру, мол, мужик в крайней хате, хоть ты что хошь, фордыбачит: коня спрятал, сам в войско не йдёт. Уж не красный ли он? А командёр-то ихний, недолго думая, безо всяких разбирательств возьми да прикажи папаньку вздёрнуть. Для острастки, значит, чтоб другим неповадно было.

Покуль мамынька со мною во чреве до Хручихиной хаты напрямки по татарнику-мордовнику доколтыхала – тамотка папку собирались порешить – уж всё и случилось... Не успела, значит, рódная, вымолить его у фицера. Обхватила она уже остывающие мужнины босые ноги, повисла на них и так-то голосила, так-то выла, что еле оттащили. А она уж – и словно не она, словно умом трехнулася. Не расторопились её до избы довести, на полпути в ржаной копне мною и разрешилась.

С перепугу ли мамынькиной кровь прилила мне к лицу, так ли спервоначалу было предначертано – чего уж теперя гадать? Только врагу не пожелаю с таким обличем народиться, – задумчиво вздохнула тётка Серафима, подняла с колен изробленные руки, утёрла уголком подшалка вызревшую слезу.

– Так и возрастала... всё больше в одиночку да с краешку, не на свету. А как Отечественная-то подросла, как немец попёр, я уже по нашенским меркам перестаркой была – на двадцать втором году. Сколько мóлодёжи паслёновской поугнал тада антихрист к себе в Германию энту, будь она трижды неладна, в работы!.. А вот мной даже он побрезговал.

Мамынька померла на другой год, как осел в Паслёновке немец. Под Роштво. Январюга, скажу я тебе, в сорок втором выпал редкостной, наскрость ошпарили земь морозы, даже в феврале, на Тимофея Полузимника, отродясь такой леденящей хрупы не выдывали. Застудилась, значит, и померла сердешная... Ну, дак какая одёжа-обутка по ту пору? Всю как есть подчистую хриц повыскреб и ношеным не погнушался... Голдовали, конечно. Картошечные лушпайки за счастье почитались.

Об том же, как бедовали и в послевоенные годы, сказывать не стану, небось, без мово сказу насылана: курочка ещё в гнезде, а мы уж полдня со сковородкой. Добавлю лишь, что каждый раз, как вспоминаю ту-то пору, диву даюсь: разишь такое может обнакновенный человек сдюжить?.. А вот, поди ж ты: значит, может! Самое главное, я так думаю, чтобы душа не запаршивела, коростой не покрылась.

Серафима спохватывается, на удивление проворно поднимается, шаркает потрёпанными бурками к печи, рядом с которой, «под рукой», с гвоздика свешиваются изрядно обобранные за зиму низки золотистых луковок, бледно-розового чеснока и скукоженные хвостики жгучего перца.

Отодвинув с устья заслонку, старушка ловко, словно молодуха, опершись на рифлёный каток, подтягивает рогачом чугуночек, выкатывает «на продых» взопревшую гречу. Тут же по привычке обметает гусиным крылышком от сора загнетку и возвращается на насиженное место.

Медленно капает день, слово за слово, не спеша ведёт свой сказ о сыне, о своём житье-бытье тётка Серафима.

– А жила я по-прежнему одна. Куды деваться-то: попала в колесо собака – слезьми захлёбывается, питит, а бежит. Так и я... Два года до конца войны в землянке: немец-то, отступая, Паслёновку наушшал пожар, ни избёнки не оставил, одне трубы на погорелье торчали. Ну и вот, значит... Потом, попервоначалу, саманкой обзавелась... обнадёживаться-то разу не на кого было. Это уж когда-когда колхоз помог отстроиться. Дай Бог председателю нашему, Митрипальчу, здоровья. Пожалел сударик мою сиротскую немочь.

И всё в работе, в работе... Разной выделки, замесу бывают люди, а я уж, видно, из самого наипростецкого теста. Дак ведь без труда, знамо дело, приходит тока грех. Обжилась я, значит, завился худо-бедно, а всё ж таки и в моей новой избе дымок. Дажить в палисаде, как у людей: всё лето порхал мотыльками мак-самосейка, к августу завивались царские кудри.

В пятьдесят девятом надумала и я, как другие, провесть в новую избу свою радио. По ту пору уже в каждой паслёновской избе под гимн вставали и ложились. Стыдно как-то за такую промашку супротив других. Порешила и порешила... Договорилась с Николаем – он у нас этим делом по деревням в очерёдку уже два месяца занимался. Сам-то проживал в районе, но по своему ремеслу приходилось ему ездить по округе, проводить радио. Район у нас просторный, обыдёнкой зачастую у него не получалось, зачастую уезжал от семьи с ночёвкой.

В тот день работал он в нескольких дворах и только к вечеру допялся до мово. Дело было в конце лета, вечера короче, темнеет раньше. Вот и сговорились мы, потому как уже стемнело, что заночует Николай у меня на сеновале – август на исходе, но духота, дажить ночами, – а уже с утраца примется за работу.

Повечерили, значит, мы. Сама знаешь, хочь какие там разносолы в деревне, а всё ж таки в эту пору на столе новины вдосталь: и огурцы тебе, и помидоры, и картошечка с развару. Постелила я гостю в сеннике, и он отправился спать.

Серафима запнулась, словно принялась всматриваться в тот вечер, припоминать ту, невероятно важную для неё минуту, так неожиданно изменившую её жизнь.

– Прибралась я на столе, смотрю: у рукомойника на гвоздочке клетчатая зеленоватая Николаева рубаха. И так-то крепко от неё пахнет мужиком... Вот и пришло мне в голову... Дай, думаю, хочь разок в жизни постираю, пусть и чужую, но всё ж таки мужицкую рубаху. А как принялась за постирушку, глядь – в нагрудном кармане карточка. Парнишка на ней – вылитый Николай, годков десяти. И такой милovidный, глазки востренькие... папкины глазки. И статью, по всему видать, в отца выладнится.

Серафима даже прищурилась, словно держала в руках и рассматривала мальчишкину карточку.

– Закончила я со стиркой, воду с крыльца выплеснула, и надумалось мне сбегать к омутку, распустить Николаеву рубаху по воде, как обычно полоскают мужнины подштанники да рубахи наши паслёновские бабы. А заодно искупнуться.

...Вернулась на подворье, уж деревня угомонила, развесила на тёплом ветерке рубаху. Села на крылечный порожек, сон – ну тебе ни в одном глазу. И вдруг, и сама не знаю, как вышло... Расскажи кто, и не поверила бы, что такая я, оказывается, рысковая, что на такое способна. По правде-то сказать, я ведь из самого что ни на есть робкого десятку. Для меня случившееся не только в редкость, но вообще из ряда вон... Поднялась я, значит, и скрозь темень напрямик в сенник. Думаю: вот тебе, Симка, подарок, с неба упавший!

Разговор наш с Николаем передать не могу. Потому как вроде не в себе была. От волнения почти ничего не помню... да и сколько с той ночи минуло!

– Сын у меня, Сима! – заговорил, было, Николай. – Да и грех на сердце стопудовым камнем ляжет, дурная слава об нас покатится.

– А и пусть! – шепчу я ему, а у самой лицо от стыдобушки жаром полыхает. – Прошу тебя, не сори сейчас словами, не побрезгуй, Бога ради... подари мне немножко тепла. В семью твою вовек

не встряну, дитя от тебя хочу, боле ничем никогда не потревожу. Уйдёшь – забудь меня, только не оставь пустоцветом, прогорклой вековухой... ведь скоро догору...

Сказать по чистой совести, пожалел меня тогда Николай... Видать, Бога в сердце имел, – прошептала срывающимся голосом, будто для себя, страдалаца.

Задохнулась охрипшая, распятая душенька тётки Серафимы, словно старушка надорвала грудь. И у меня, всхлипнув про себя, замерло сердце, боюсь пошевелиться, даю ей перевести дух.

– Весь август проработал в Паслёновке Николай, все ноченьки отколыбелил по моему почину у меня на сеновале. Сколько охапок сена перевели мы на труху, сколько звёзд осыпалось за месяц над подворьем, озаряя моё счастье!

А как пришла пора сворачивать Николаю в нашей деревне дела, я уже была почти уверена, что понесла. Хоть и переполнялась душа моя радостными переливами, словно солнечные зайчики в ней поселились, ни словечком ему, родимому, не обмолвилась. А зачем?.. Пушай себе живёт со спокойным сердцем... семья у него... вить не зря же умные люди ещё истари приметили: мол, на чужом-то несчастье свою счастья не построишь.

Может, и узнал бы когда случайным случаем Николай, что бегаёт по Паслёновке мальчишка – его потретик... да такой-то ладненький, с его востренькими глазами. Да, видать, не суждено...

А всё войница эта, проклятушая... Всё прибирает к своим загребушим рукам... Он ведь, Николай-то, в окопах от первого дня до последнего... Вот и вскрылись раны... Сама видела: и спина – в рытвинах, и живот исполосован. Года с той ночи не прошло, как не стало отца моего Митеньки...

Как сынишка в разум вошёл, я, конечно, рассказала ему, какой геройский был у него папка. Придумывать-то особо ничего и не надо было. А мальчонке без этого никак нельзя... человек не должен чувствовать себя безродным.

Она призадумалась и вздохнула.

– Перед армией Митя обмолвился: мол, даже на могилке у отца побывал и со старшим братом познакомился. Уж как он измудрился, озаботился, не знаю, только, думаю, правильно сделал.

Да и с измальства он у меня был смышллё-онай! Растолковывать ничего не приходилось – только намеки, он тут же точь-в-точь и переснимет. Не заметила, как разговаривать начал. А ползать и во все не ползал. Встал себе, да и пошёл. Самостоятельной – не приведи Господь!

Серафима умилилась сердцем, кажется, на лице её даже морщины разгладились. Не лицо, а сама ласка ласковая. И улыбка зацвела такая нежная, такая неувядливая. Никакие иные воспоминания не могут посеять и взрастить в Серафиме схожих цветов радости, как думы о сыне Мите.

– А уж какой пытливый! От этого с ним беспристанно всякие-разные неурядки приключались. Вот, к примеру, это ж надо было додуматься испытанья с самим собой произвести. С собственным языком. А ну как навовсе его лишился бы?

– Это как же так? – не выдерживаю я.

– Да как, как? Очень даже просто. Годков пять Митеньке по ту пору было. Соседский Витька, вымахал – орясина-орясиной, а в голове – мякина. Возьми да подначь энтот рангутан малюго: мол, слабо тебе, Митька, замок амбарный лизнуть?

А дело-то было под Хрищенье. **Сыночка** и смекнуть не смекнул, на что его Витька-паразит подтолкнул.

– Вот делов-то! – говорит, да и лизь амбарник.

Язык тотчас и пристыл. Так ещё бы! Чай, не май месяц, холодрыга за тридцать. Прибёг забубённый Витька за мной.

– Тётка Сима! Ваш оголец приморозился!

Что тут поделаешь? Пришлось замок с амбару отмыкать да вместе с Митей, с бедолажным его языком доставлять в избу. Так и сидел у печки: водой тёплой поливала, покуль замок от языка не отвалился.

Две недели потом мучился, ни есть, ни пить не мог. Дак и этого мало. Только оклемался, давай на спор с Толькой и Мишкой Крюковыми сосульки с ихнего пчельника грызть. А зачинщиком опять тот-то Витька был. Сам-то, небось, не попробовал, всё над малышнёй насмеялся. После того спора провалялся мой Митенька на печке ажни до самого Прощёного дня.

Так и это ему уроком не стало. Если пересчитать, пальцев не достанет, сколько разов из-за свою любопытствования попадал он в оказии.

А то вот ещё случай. Кабы не мои молитвы да бабка Матвеевна, в тот раз уж Митеньке точно из беды не выбраться. Надрали они с закадычным своим дружкой Толькой на задворье полны карманы паслёну вперемешку с дурманом, уселись у Крюковых на крыльце, собрались опробовать, что за хрукты-овощи такие. Слава Господу, на ту пору Матвеевна с огорода вернулась: не успели как следно приложиться.

Покуль у Мити двое суток от бабкиного узвара нутро выворачивало, я омывала слезьми перед божницей половицы: «Божечка! Мила-а-й! Не отымай Ты у меня единственную кровиночку! Не допусти смертыньки безвинному дитяти мому! Пошли Митеньке исцеление! Каюсь, каюсь! Знаю, помню, как не помнить-то? Их у меня, грехов-то, ажни сто мешков! Не вмений Ты сыночку грехи мои... Чего Тебе стоит, Всесильной?! Вить мне без сыночка хочь головой в пролубь».

Снизосли Небеса до моих молитв: туда-сюда, глядь, уж опять Митюша на ногах, опять чегой-то затевает, всё-то ему неймётся.

А сердешнай был! До каждой козявицы жалостливый. Бывало, у кота нашего Кусихвоста мышей отымит и отымит и на волю отпустит. Кот-то с голодухи ли, хищного ли интересу ради даже тараканов, что кишели в запечье, ловить наловчился. По правде сказать, поменило их тогда изрядно, а то ведь как с ими не сражайся, расплодилось, по ночам стены и лавки от энтой усатой твари шевелились.

Уж поболе подрос Митя, годков десяти был, такое живчик начередил, думала, посля того дня сниму с Полкана цепь, на его шею накину да к столбу, что матицу посередь избы подпирает, и прикую, чтобы со двора боле ни шагу.

В самое половодье случилось. Морозы стояли в тот год страшенные. Речка почти до донного доньшка промёрзла. А с началом поста, как не упиралась, всё ж таки тронулась. Грохот, скрежет по всей пойме. Льдины сшибаются, переворачиваются, одна на другую насадет. Смотреть, и то жутко.

Под Вербное было-то, как чичас помню, на Акулинин день.

Уж как она там оказалась, неведомо, с верхов, из Копыркино приплыла, что ли ча? Сидит, значит, на крыге рыженькая такая, с кошку, ну, чтоб не приврать, пушай с две варежки, собачонка. Сидит, морду вверх задрала и так-то жалостливо, так-то слёзно воет – ну, что твоя баба по покойнику голосит.

Как нарочно на то время спровадился Митя спозаранку в лозинник. Помнишь, наши у Кривой балки завсегда там вербу по болотоцветнику к празднику ломали? Ушёл и ушёл. Час нету Мити, два нету, уж пора возврататься. Я и по двору управилась. Солнце на полпракитки вскарабкалось. Обед стряпаю, а сама глаза проглядела. В редкую стёжку ведь пообещает и не сполнит.

Вдруг врывается в избу Толька Крюков и прям с порогу: «Тётка Сима! Митьку вашего на крыгах за деревню уносит! Батька воротину снял, на речку побёг».

А получилось-то как? Уж и домой ребятишки с вербой возвращались. В недобрый час возьми и подвернись им эта несчастная собачонка. Разишь Митя мог пройтить мимо? Кинулся вызволять!

Когда я, наконец, очутилась у воды, Петро Крюков, Толькин батька, и ещё пара наших мужиков с лестницами и баграми уже передыхали на берегу. Митя в обхватку с собачонкой сидел на крюковской воротине.

– От же ж паразит! Что ж ты, такой-разэтакий, делаешь? Угомон тебя возьми! Сердце выковырнул из груди! Рази не ведаешь, что на Акулину вода в реке – не Божья роса, русалки нынче опосля зимы просыпаются! А тебе – завей горе верёвочку! Вот утащили бы под крыгу – и с концами! – накинудась, было, я на сына и давай стращать.

А потом вижу: дело плохо. Ах ты, Господи! Чевой-то неладное с им! Ни жив ни мёртв, надо бы пуше, да некуда: губёнки синие трясутся, зубы стучат, кухвайку хочь выжимай, набрякла от воды. Невелика я росточком, а только откуда силы взялись? Вскинула его на плечо, как куль с мукой, да и потащила до дому. И давай и внутрях, и снаружи: то гусиным салом, то нутряным жиром, то нутряным жиром, то гусиным салом. А сама думаю: в таком разе теперя точно привяжу. Куды там!.. Разишь в каждый след доглядишь? Да и под юбкой мужика, как ни крути, не вырастишь...

Тут вдруг Серафима ещё ниже опустила бескрылье плечей – снова застыло её сердце, ушла в шаль, на лице опять проступила витиеватая ажурь морщин. А от уголков рта пролегли две глубокие борозды. Под глазами – несчётное перекрестье дорог. Глаза её вдруг погасли, и прижившаяся в душе старая заскорузлая печаль чёрной тенью накрыла старушку – краше в гроб кладут. Разговор сам со-

бой скомкался. Избу поглотила такая тишь, что слышно было, как под шкурой многолетних обоев шебаршились суетливые мыши.

– Стану, бывало, с ним разговоры разговаривать: мол, жаль ты моя, вить случись что с тобой, тотчас и у меня сердце на куски, – очнулась Серафима, – а вот поди ж ты... живу... По радио слыхала: мол, долголетие – знак особого благоволения Господа к человеку... И зачем оно мне?.. Какой во мне теперя прок?.. Мити-то, опорухи моей, нету...

Лучше бы она заплакала. Может, хоть на чуточку легче бы стала крестиком расшитая её судьба, выношенные ею муки. Но Серафима давно свои слёзы истратила. Зато до конца старушкиного века пригнездилась жгучая, ничем не унимаемая боль в её опустошённом потерями и временем сердце.

– После школы выучился сынок на шофёра. А осенью семьдесят девятого подоспело время идти на службу. И вить не брали сиротинку-то! Да он, мол, как жа? Срамно супротив ребят! Стыдоба вить! И дообивал на свою... да и на мою голову порог военкомата!

С той минуты, как узнала я, что он попал в Афган, вздрагивала от малейшего шороха, не хватало духу слушать по радио новости... Ведь уже доставили матерям и схоронили в Ясенево и в Успенском двух Митиных одногодок. Я и ждала, и боялась появления у моей калитки Зинки-почтальонши...

Он погиб в восьмидесятом, в последний день зимы... В гробу я его не видала, закрытый казённый гроб... Накричалась до немогу, до онеменья. Душа искалечилась, промёрзла наскрость – не живописать словами. Всё до единой косточки словно через мясорубку пропустили... Дажить и не знаю, как измудрилась наша фельдшеричка Климовна меня с того света достать.

Письмо пришло через три дня после похорон. Шуточное ли дело?.. Открываю, а в нём карточка... И Митя во весь рот улыбается! Пишет: мол, всё у него хорошо. Я тада, простодыра, хочь слабина в коленях, как во хмелю – в военкомат. Внутрях всё запеклось, отдышалась да: так, мол, и так, письмо получила. Может, со слепу чего в ём не разобрала? Зародились сумления... Тока скажите правду, кого вы мне в гробу доставили?

А они не обнадѐжили... ещё тужей завязали мою судьбу в вузляк... Бывают, мол, с почтой накладки... Помстилось тебе, мать. Выбрось из головы свои угарные мысли, не сумлевайся... пал твой сын смертью храбрых двадцать девятого февраля в Кунарском наступлении.

Только какая ж мать поверит, скажи мне на милость, коли сыновней рукой выведено: всё у меня хорошо, мама?.. И такой весёлый!.. Вить без него мне, словно небо без Бога.

До перехвата дыхания стало мне жаль засиротевшую тётку Серафиму. Позже, признаюсь как на духу, но без душевного трепета, навела я справки. То Кунарское наступление 29 февраля – 12 марта – рейд батальонов Советской армии в провинции Кунар. В бою у кишлака Шигал 29 февраля в первом столкновении в истории Афганской войны подразделения ВДВ с моджахедами были убиты 37 наших ребят, 1 пропал без вести и 26 ранены.

И вот теперь думаю: правильно ли я поступила, что снова приехала в утеплённую верой избу, чтобы рассказать тётке Серафиме, – она ведь горе своё и без того пила глубоким ковшом, – ещё и о без вести пропавшем в том наступлении парне?

– Отец Небесный! Да это мой Митя! Мёртвым я его не видала! – снова осветилась, упрочилась надеждой измыканная, но так и не свыкшаяся с потерей мать, – третьево днись опять сон об нём был, вешует мне сердце: живой!

